



«**П**ослушайте этого парня, — говорил уважаемый телеведущий, и я замирал перед экраном; эту программу мы с родителями ждали несколько месяцев — главный канал страны, лучшая телепередача, телепередача-эталон, и в ней через какие-то секунды должны были показать меня. — Который так все понимает и простым языком говорит с нами...»

Нас снимали практически весь день — жильцов специально просили не выходить из дому, в особенности Илью, василеостровского дурачка лет двадцати пяти. Нас снимали в коммунальной кухне, возле сдвинутых столов и расставленных вдоль длинной стены одинаковых газовых плит. Человек с камерой входил на кухню и медленно шел по ней, снимая всех жителей — а нас было много — и останавливаясь на каждом. У меня, восьмилетнего ребенка, брал интервью лучший ведущий страны Владимир Молчанов. Его очень интересовало почему-то, что я думаю о жизни в этой коммуналке, о своей — детской — жизни с родителями и о жизни России в целом. Это совсем не шутка, непонятное интервью длилось долго и

снялось в несколько дублей. Говорил он и с остальными жильцами.

Но вот когда я затаил дыхание и уставился на экран, на нем возник черный занавес, за которым открывалась какая-то странная студия, посередине которой на стуле сидел бородачатый мужчина в очках и с гитарой. Он запел хриплым голосом песню про «Черный пес Петербург», и внутри у меня все упало. Целый съемочный день в нашей огромной двадцатипятикомнатной коммунальной квартире на Васильевском острове обернулся тем самым кадром в кухне, где все, застывшие, стоят перед столами, как будто их собираются фотографировать. Кадр длился несколько секунд и вряд ли представлял не только художественную, но и вообще хоть какую-нибудь ценность.

Шевчука я слушать не стал: мой Петербург никогда не был «черным псом», это сравнение наводило, да и до сих пор — с той самой картинкой из детства — наводит на меня оторопь. Да и вообще, я жил еще в Ленинграде, как, думаю, и вся наша квартира, которая так и осталась в Ленинграде, — и сейчас, проходя по

Большому проспекту, я вижу на окнах пожелтевшие буквы SALE. Квартиру расселили ближе к концу девяностых — заселить ее оказалось задачей не из простых.

Программа «До и после полуночи» с тем просмотром закончилась для меня навсегда. А вот другую, «600 секунд» Невзорова, я, наоборот, полюбил. Конечно, никто не хотел увидеть съемочную бригаду в нашей квартире — в силу специфики передачи — но, едва она начиналась, обычно шумные кухня, длинный коридор и даже вечно занятые туалеты пустели. Мне кажется, так происходило во многих квартирах. Программу «600 секунд» любили, наверное, за то, что она показывала, что где-то есть жизнь еще страшнее.

Вдохновленный телепередачей, я рисовал босые ступни ног, выглядывающие с лестничного пролета: мне казалась ошеломительной операторская съемка с нижних ступеней, постепенно приближающаяся к ним камера, открывающая, наконец, пылливому взгляду зрителя свежеспеченного мертвеца, павшего в какой-то низшего уровня бандитской разборке. Говорят, Невзоров удивлял всю Европу, делая предсмертные интервью: совал микрофон под нос хрипящему и агонизирующему бандиту с вывороченными кишками, и тот умирал, как бы сейчас сказали, онлайн. Не знаю, не видел. А может, меня уберегли от этой программы заботливые родители, переключавшие на «Спокойной ночи, малыши» с разрекламированного советского фильма ужасов «Люми». В рекламе воплощался весь страх советского человека, потерявшего Родину и ориентир в ирреальном пространстве — автомобиль или танк, вываливающийся из телевизора прямо в комнату сидящих перед экраном обывателей. Горящий, по-моему. Реклама фильма хорошо иллюстрировала состояние самих обывателей: в их размеренный, добрый, уютный мир вырвались демоны. За демонов отвечали Невзоров и со своим «Черным псом» Шевчук. От добрых Хрюши со Степашкой, как и от интеллигентного ленинградского Хохи с головой-дырявым башмаком, предложенных родителями как альтернатива аду, я уже воротил нос.

Имел, что называется, право. К своим семи несмышленным годам я и сам уже снялся в подобном «Люми». Советский интеллектуальный фильм «Третья планета» не претендовал на то,

чтобы зваться триллером, он отсылал к Тарковскому и Стругацким, а потому так и остался на полках «Ленфильма». Впоследствии режиссер Рогожкин и сам осознал ошибку, видимо, перестал снимать «интеллектуальщину», и в его карьере сразу началась золотая эра — «Особенности национальной охоты, рыбалки и чего там еще» принесли ему всероссийскую славу. Мне же оставалось сожалеть, что, приглашенный на съемки следующего фильма, я отказал режиссеру в категорической форме — всему виной были комары в лесу под Ленинградом, где снимали один из эпизодов фильма. Сколько ни пытался режиссер Рогожкин убедить меня в том, что кинематограф — это не только комары, я был непреклонен: взяв родителей за руки, гордо отправился домой. Благодаря чему и пишу сейчас свои скромные тексты, а не раздаю интервью журналам для киноманов. Вроде «Сеанса», валялся у нас дома такой. Внутри него был постер — хотя слова такого еще не знали — с изображением плачущей Ани (героини фильма) и пытающегося утешить ее меня. По сюжету Аня должна была орать нечеловеческим голосом, и, утешая, я ненавидел ее и боялся.

Режиссер потешался над нами как мог. То не скажет про труп — настоящий, из морга, расчлененный и аккуратно упакованный в пакет, исполнителю главной роли, мужчине за 50, то скроет от меня, что, если кинуть в кусты камень, раздастся неслабый взрыв. Чтобы быстрее бежал. Снимал он и двухголовых уродов, и натуральных психов для массовки, изображающих — осознанно ли? — зомби. Кино начала девяностых — это страх и ненависть, еще раз страх и еще раз ненависть, но не в Лас-Вегасе, а в городе Приморске Ленинградской области, где снимались эпизоды фильма и где жил огромный паук размером с мою детскую голову и ходил единственный автобус под номером 18.

Попасть в кино, что интересно, в эти годы было очень просто: мы шли с родителями к станции «Гостиный двор», и нас окликнула женщина. Сказала, что ищет ребенка для роли в фильме, и предложила проехать до «Ленфильма». Мы думали — шутка, поначалу. Думали, она хочет время спросить.

Кстати, для того чтобы спросить время, существовал специальный телефон — в Ленинграде,

например, 08. Позвонив по нему, можно было услышать механический голос, который говорил, как роботы в фильме «Гостья из будущего»: точное время столько-то часов, минут и секунд. Будучи ребенком, а все дети счастливы и, как известно, часов не наблюдают, я долгое время не подозревал о существовании такой услуги, пока родители не попросили узнать время, а я, перепутав, прокрутил на дисковом телефоне девятку вместо восьмерки. Ничего не подозревая, я спросил у поднявшей трубку девушки: «Извините, а вы не подскажете, который час?» — я был воспитанным мальчиком. То-то было смеху у родителей!

Но когда на пятки, а затем и на глотку старому времени наступило новое, цифр после нуля стало резко не хватать. Любая захудалая, только вылупившаяся из своего кооперативного антисоветского яйца фирмочка мечтала иметь телефон на 0, но прежде всех появились 009 и 058. Первый принадлежал новой справочной, вроде 09, но только на коммерческой основе, и операторам старой службы стало гораздо проще работать — все, что от них теперь требовалось, это повторять заученную фразу: «Мы не располагаем такой информацией, но можем переключить на коммерческую службу 009». На 058 девушки были куда разговорчивее, что объяснялось характером оказываемых ими услуг. Это был первый в городе сервис «интим по телефону». Меня и маленького Артема — кроме нас, детей в огромной коммуналке не было — завораживали обнаженные красавицы, рекламировавшие эти три цифры: «Позвони мне», «Жду тебя», «Пошлим». Среди соседей ходили слухи, что примерные отцы семейств просаживали целые состояния в разговорах по страшному номеру. О чем говорить с красавицами, мы, дети, совершенно не представляли. Нам просто хотелось их услышать, убедиться в том, что они существуют, узнать, как звучит их голос — только-то и всего. Но в трубке раздавался сухой ответ, как будто мы звонили в 09 или даже порой в 08. Даже в 009 голоса были живее, теплее и эротичнее. Мы набирали номер снова и снова и, услышав голос, бросали трубку, пока однажды не узнали, что оплата насчитывается не за сам «взрослый разговор», а за то время, что ты на линии, начиная с первой секунды. Красавицы из 058 сами позвонили, не

выдержав, в нашу квартиру и объяснили родителям, что больше не стоит их беспокоить. Почему-то они не сказали — кого беспокоить, собственно — и мама единственный раз побывала в самой дальней комнате коммуналки — напротив ванной — где изредка появлялся начинающий постсоветский бизнесмен Лева.

— Куда они могли звонить? — интересовалась мама (мы, разумеется, не признавались).

— Не знаю, — отвечал тот. — Надеюсь, хоть не в Большой дом.

Помню, мама аж ахнула и отчего-то испугалась. А мне показалось, что под Большим домом они подразумевают публичный — настолько, видимо, боялся, что наш замысел раскроют, и неожиданно понял, как они близки к разгадке. И в этот момент мне стало стыдно.

Услуга 058 рекламировалась в газетах «Калейдоскоп» и «Не скучай» — пионерах ленинградской бульварной прессы — если я не ошибаюсь, они существуют до сих пор. Помимо эротических рубрик (эти статьи почему-то считались главными и часто выносились на обложку), журнал публиковал все, что могло заинтересовать простого советского обывателя, вырвавшегося из темного небытия в мир свободной информации. Здесь и дамские советы, и интервью с популярными музыкантами, и рубрика про «невероятное-очевидное», и дачный уголок, и плотно уже вошедший в жизнь этого самого обывателя криминал. В журнале публиковали просто фантастические материалы, запредельность которых поражала даже меня, ребенка, не знающего, чем занять себя в туалете, и потому взявшего за правило прихватывать с собой «Калейдоскоп». Так, в одной статье рассказывалось, что известный выстрел, который произвела «Аврора», случился по той причине, что матрос, решивший прочистить орудие, случайно сел в лужу муравьиной кислоты. Муравьи разъедают крейсер «Аврора», предупреждали журналисты «Калейдоскопа» ленинградского обывателя, и скоро от него совсем ничего не останется. Однажды я прочитал историю, которая на некоторое время изменила мою жизнь: оказывается, в канализационной системе Ленинграда живут жабы-мутанты. Рассказчик (на условиях анонимности) поделился с «Калейдоскопом», что однажды, когда он присел по естественной надобности, такая жаба выскочила

прямо из недр унитаза и схватила его за яйца. Случай нельзя назвать уникальным, утверждали журналисты издания, скорее он демонстрирует возрастающую тенденцию. Так «Калейдоскоп» потерял одного читателя: я стал ходить в туалет настолько быстро, что о чтении газеты уже не могло быть и речи.

Но, повзрослев, конечно, я забыл ту страшную публикацию и никак не мог предположить, что спустя много лет она напомнит о себе сама. Тем не менее это случилось, причем весьма неожиданно: на занятиях по истории СМИ в университете. Преподаватель, молодящийся мужчина в возрасте, рассказал, что в начале 90-х, когда у интеллигентных людей было плохо с работой, да и вообще плохо, он, как и некоторые его знакомые, коллеги, подрабатывал в дешевых бульварных изданиях написанием — причем не простым написанием, а именно выдумыванием, подчеркнул он — бредовых заметок. За них относительно неплохо платили, а отнимали они совсем мало времени. Ну, и в качестве примера, смеясь, привел ту публикацию о жабах-мутантах. Я почувствовал себя глупо, хотя, как знать, сколько еще ленинградцев под впечатлением той публикации ускорили пребывание в туалетах? Сколько еще он лишил размеренного сортирного чтения? Властитель дум, видите ли.

Хотя и время наступало такое: сидеть в сортире было непозволительно, чтобы жить, как любили тогда повторять все вокруг, нужно было вертеться. Дед работал на «Ленфильме» и по совместительству водителем на маленьком грузовичке, бабушка на заводе (с приходом нового времени там стали производить кетчуп — она произносила это с горечью, пытаясь сопоставить вроде несопоставимые слова: завод, двигатели, кетчуп — кетчуп, двигатели, завод), отец ходил в моря. А я мечтал стать журналистом, вдохновленный посещением молчановской команды. Я записал на магнитофон звук смыва в туалете и сделал заставкой своей авторской радиопередачи. Ходил по квартире и делал интервью, довольно быстро надоев всем жильцам. В квартире оставалось всего две комнаты, репортаж из которых не получился: секретная угловая комната, должно быть, с самым красивым видом из окна, на которой было написано «Винogradовы». В этой комнате никогда не появля-

лись жильцы. Отказалась идти на контакт и полубезумная старуха, подливавшая продукты испражнений соседям в суп или демонстративно выливающая их в ванную. Но я и не рассчитывал, что она ответит на мои прямые вопросы.

Из кухни был выход по темной лестнице в странное помещение, где сушили белье. Жильцы называли его в шутку «бельэтаж» — огромная комната с бесчисленными веревками, протянутыми под потолком, которая освещалась тусклой лампочкой и маленьким окном с видом во двор-колодец. Всякий раз, когда я заглядывал в него, мне становилось не по себе. Я спрашивал: а зачем они придуманы, эти дворы-колодцы, в которые невозможно попасть — ну разве что из окна первого этажа, и никто из взрослых не находил ответа. Как, впрочем, на многие детские «зачем». Спустя много лет я прочитал где-то статью о том, как вырастают дети в маленьких ленинградских комнатах, ежедневно глядя в черное нутро двора-колодца, какой, должно быть, неизгладимый отпечаток на них это накладывает. И понял, что счастлив хотя бы от того, что у меня этого не было.

Огромную комнату с высоченными потолками дед сделал двухэтажной — тут были и прихожая, и маленькая кухня, и деревянная лестница, ведущая в спальню — под потолком. Оттуда было интересно наблюдать за взрослыми, которые привычно сидели возле телевизора по вечерам или занимались обыкновенными делами. На тумбочке возле моей кровати всегда стояли любимые игрушки — и они были, как мне теперь кажется, типично ленинградскими — трамвай, заботливо склеенный из деталей (он продавался в разобранном виде) и метрополитен. Это звучит удивительно, да я и сам удивляюсь сейчас, вспоминая ту игрушку, и сожалею, что она не сохранилась. Она представляла собой круглый механизм с тремя застекленными окошками-«станциями». Нажатием кнопки можно было запустить «поезд», им же останавливать его, когда тот прибывал на станцию. Желаящим «беспредельничать» можно было не останавливать поезд, заставляя его проезжать все три станции, а затем — по кругу — снова их же — и так до бесконечности. Игрушка была незатейливой, но чем-то притягивала, не давала оторваться от себя: я проводил за ней много времени, и всякий раз с удовольствием.

Взрослые поднимались на второй этаж только перед сном — для того, чтобы сразу лечь. Лишь однажды его использовали не по прямому назначению, в 93-м году. В один из дней в квартире начался переполох, все кричали, что нужно прятаться, «по Большому проспекту идут танки и вообще начнется война». В квартире зашторили все окна, погасили свет, мне говорили, что нужно ложиться на пол верхнего этажа и, затаив дыхание, лежать там. Я полежал некоторое время в обнимку с метрополитеном, пока не надоело. Почему-то я был твердо убежден, что никакой войны не будет, что она не может просто взять и начаться, к ней нужны приготовления. И не понимал, что это они и есть. А вечером все о войне забыли. Бабушка рассказывала сон: будто мы на даче, я принес воды из родника, гуляю, ем клубнику, она накопала картошки и отдыхает возле крыльца, рядом дедушка чем-то занят — вроде как пилит что-то. На этом рассказ прерывался, и, нетерпеливый, я дергал ее: «А дальше? Что дальше? История-то где?» Но бабушка объясняла, что это все. Истории никакой не будет. В ее снах все было мирно, привычная обстановка и родные люди рядом — вот все составляющие ее идиллии. Историй ей было не нужно.

А тем временем вся наша жизнь становилась историей — в том самом привычном виде, который был так дорог. Трамваи ходили редко, и до Садовой приходилось идти пешком — летом это была приятная прогулка. На Садовой находился обменный центр: бабушка хотела распрощаться с комнатой и получить квартиру где-нибудь в новых районах города: она приходила в скучное здание, где были расставлены друг за другом длинные столы и люди перебирали какие-то карточки, что-то выписывали. Бабушка проводила там долгие часы, а я слонялся от безделья по аудитории и этажам: мне было совершенно не понятно, чем она там занималась, в чем смысл просиживать в этом здании драгоценные дни, когда можно проводить их куда интереснее — гулять, к примеру, в том же Юсуповском парке, сидеть на маленьком островке, окруженном водой, и разговаривать о поэзии — я, например, очень любил стихи тогда, не в пример мне нынешнему, или кормить уток — что могло быть прекрасней на свете кормления уток свежим батоном? Но бабушка упрямылась: она тащила ме-

ня за руку в обменный центр. «Чтобы нам было лучше жить», — коротко объясняла она и погружалась в бумаги. Я брал в руки газету, такую же скучную, как весь этот центр, как бабушкино занятие, как и вся моя жизнь в эти часы, и читал по слогам: «Со-бач-ка-о-бе-ща-ет». Окружающие почему-то смеялись.

— Гражданка, правильно ваш мальчик мыслит, — обращались к бабушке веселые мужчины, и та наконец замечала меня.

— Собчак, а никакая не собачка. Где ты увидел собачку? — спрашивала она.

Для меня было труднопроизносимым слово «Собчак», мне не давалось понимание его смысла. Я тут же, рядом, рисовал собственную газету, в которой не писали ни о собачках, ни о «собчакках». Я аккуратно выводил линии, делившие газету на полосы, и рисовал в них непонятные фигуры. «Гражданка», — выводил я странные буквы.

— Бабушка, бабушка, — донимал я. — А что такое гражданка?

— Район такой в городе, — отвечали смеющиеся мужчины.

Я уходил блуждать по коридорам скучного здания. Однажды я заметил на подоконнике трехлитровую банку, в которой барахталась мышь — настоящая, серая, крупная. Она судорожно перебирала лапами, пытаясь удержаться на плаву, интересно, помышляла ли она о том, чтобы выбраться? Вокруг странного зрелища собирались люди. Один из собравшихся, словно организатор представления, наклонялся над банкой, заглядывал в нее, крутил, поворачивал банку.

— Мышь поймали, — отвечал он на немые вопросы присутствующих, почему-то со странной гордостью в голосе.

— И что теперь? — кто-то решался озвучить вопрос.

— Ей надоест, и она утонет, — пожимал плечами человек.

— Отпустите ее, — сказал я, и народ зашептался. Кто-то поддержал идею, кто-то нет. Мнения разделились.

— Ты смеешься, что ли? — сказал человек. — У нас и так полон дом мышей. Скоро на голову прыгать будут. Теперь их не травит никто, сами справляемся.

— Ну а почему таким-то способом? — робко спросил кто-то.

— Так это, — замылся человек. — А каким еще?

Я отошел от них: делать среди этой публики было нечего. Они смотрели, как барахтается мышь, и, когда надоедало, расходились. Вода — не сметана, из нее, как в известной сказке, масла не взобьешь. Итог мышинных стараний был предрешен. В каком-то смысле и мы, ленинградцы, оказались в положении той мыши: новое время заключило нас, простых обитателей легендарных василеостровских коммуналок, в банку и наполнило ее водой. Новым людям, которые стремительно приобретали все вокруг, первое время еще было интересно смотреть за нашими барахтаньями — ведь именно на фоне этой растерянности, немощности особенно стильно и выигрышно смотрелось знамя их свободы, но вскоре их мир окреп и стал замкнутым — в городе, как и по всей стране, рождались высшие касты, и стали они так высоки, что каких-то мышей в банках с их золотых вершин было просто не видно. Мне говорили об этом с горечью, понемногу, давая понять, что нас — и меня — там никогда не будет, а будет только банка, только вода. И я верил. Порой настолько сильно, что родители ужасались сами.

Так случилось и в тот раз. Выйдя на улицу, чтобы проветриться и переварить в своем маленьком детском сознании зрелище, я запустил руку в карман кофты и обнаружил горсть монет — это казалось странным: родители в том возрасте мне никогда не давали карманных денег. В голове родились странные предположения: узнают ведь — будут спрашивать: где взял? Откуда? Ответ мог быть только один — украл. У кого? У родителей? У бабушки? Или у кого-то на улице, в общественном транспорте, в этом чертовом доме скуки и уныния? Но этого не может быть, потому что я знал, что не крал. Тогда откуда они? Я снова вспомнил мышь: точнее, не ее саму на этот раз, а людское движение возле нее. Какой-то неопрятный человек возраста моих родителей, проходя мимо меня, подозрительно смотрел и, по-моему, даже слегка толкнул — интересно, кто он? Что ему от меня было нужно? Он так стремительно сбежал по лестнице, хотя до этого вроде никуда не торопился и вместе со всеми разглядывал мышь. Точно, — понял я. — Это он подкинул мне деньги. Отвлек, и, пока я

стоял растерянный, насыпал мне в карман монет. Зачем? А кто знает? Может, ему необходимо было избавиться от них. Может, как раз он и вор.

— Ну разве такое бывает, чтобы подсыпали деньги? — смеялась бабушка, правда, смеялась грустно: ей очень долго пришлось упрашивать контролершу на станции «Площадь Мира», чтобы та пустила нас в метро.

Взрослые научили меня, что деньги — это грязь, зло, что они стоят на пути человека к счастью, а людей — к дружбе и пониманию. «Новые люди» были плохие, значит, с деньгами, или с деньгами — значит, плохие. Все перепуталось, но я точно знал, что связь есть. Я запомнил это. И, увидев у себя в кармане деньги, я мог принять только одно решение — избавиться от них, чтобы не запятнать себя, остаться чистым, остаться честным.

А правы ли были родители — я до сих пор не знаю.

Раз в год мы садились в поезд, чтобы, проведя два унылых дня за поеданием картошки и играми в подкидного дурака, оказаться в городе русской славы и русских же моряков — Севастополе. Для города наступили непростые времена. Вагоны ехали с незакрывающимися, а то и разбитыми окнами, проводники, как водится, пили, никому ни до чего не было дела. Проехав Белгород, поезд надолго останавливался, и начиналось представление, которое многие пассажиры называли цирком: люди в форме, с собаками на поводках проверяли документы, заставляли открывать сумки, а некоторых — может, сейчас это звучит странно, но именно так тогда было — и раздеваться чуть ли не до нижнего белья. Под нос пассажирам совали какие-то бумажки с мелкими украинскими буквами, в которых необходимо было объяснять, какого черта вас принесло в новое независимое государство и как долго вы собираетесь топтать его землю. Таможенники зверски хотели денег: доллары светились в их каждом глазу, как в мультфильме «Том и Джерри», и они использовали любой шанс, чтобы «трясти» их с пассажира: открывая бутылку пива, провоз домашнего животного, большая тяжелая сумка, а то и просто недовольство их действиями. Сейчас таможенник, конечно, не заявит прямо — дайте мне столько-то — хотя бы ответит че-

ловека в тамбур и проведет с ним индивидуальную беседу, тогда же было время возможностей — голову пьянили воздух свободы и ветер перемен — стесняться было нечего.

— И вам не стыдно вообще заниматься этим всем, дурни? — журили пассажиры парней с наспех пришитыми к рукавам украинскими флагами. — Мы к себе домой едем.

— Поговорите мне, — отвечали те. — Вы пересекаете границу независимого государства.

— Ох, клоуны, — смеялись люди.

Для того чтобы представить себе ирреальное ощущение тех лет и событий (а сделать это в середине «десятих» не так уж просто, особенно тем, кто привык ездить в Крым или Киев и для кого таможенная проверка стала банальностью), представьте, что досмотр происходит, например, на границе Московской области и Тверской: ощущения будут примерно те же, что у пассажиров того поезда. Никто не верил ни в какую независимость, все это считалось глупостью, дурью, люди ехали из своего города в свой же город и не принимали новых порядков. Кто-то посчитал это унижением и переживал, большинство же смеялось и плевалось в сторону «ряженных».

Конечно, в Севастополе тех лет никакой Украины и близкой не было. Она и оказалась настоящим захватчиком, подобно пауку впусив яд в действительно «незалежный» тогда Севастополь и за последующие годы изрядно растворив его, так, чтобы попытаться переваривать, не подавившись. Но мы прекрасно знаем, как легко фальсифицируется история, как подменяются понятия и выворачиваются наизнанку ценности. Тем не менее объективно это было так: Украина захватывала Севастополь. Люди стремительно беднели, занятий в городе становилось все меньше, «на плаву» оставались лишь моряки — те из них, что были торговыми, отправлялись теперь в рейс «на грека», как говорили, то есть на зарубежного работодателя. Денег, которые они привозили, хватало, чтобы прожить в Севастополе. Как от укуса зомби, вчерашние врачи и университетские профессора обращались в предпринимателей, отправлялись с челночными сумками в Турцию и Сирию, закупали тамошнего шмотья и продавали на центральном рынке, а также бывшем автовокзале и бывшем же стадионе. Вообще, в Севастополе, как и в Ле-

нинграде, пожалуй, все стремительно становилось «бывшим». Люди работали на «бывших» заводах и предприятиях, ходили в «бывшие» магазины и сами понемногу становились «бывшими». Одним из инструментов обезчеловечивания стала зарплата продукцией — по чьей-то бесовской логике, все должны были получить маркетинговый навык, укол, прививку этой новой жизни. Официальной причиной, конечно, становилась нехватка денег у новых хозяев на зарплату. Кому-то выдавали вместо денег флаконы с туалетной водой, кому-то чайники со свистком, кому-то еще какую-нибудь ерунду; от безысходности люди менялись друг с другом и при этом менялись сами, поневоле становясь продавцами, менеджерами. Несмотря на то, что это была другая работа и за нее должны были платить отдельно, если говорить начистоту.

Но, например, в школе, где я учился, выдавать зарплату учителям было нечем. Что никого не удивляло: они ведь никакой продукции не производят. Наверное, и платить им было незачем, по этой логике. Но многие из них сохраняли оптимизм, любовь к жизни и детям даже в этих условиях — наверное, это профессиональное: как машинист, если его перестать кормить, он же вряд ли разучится водить поезд? Особенно помню историю города — пухленькая женщина средних лет, в очках, скромно одетая, но как она рассказывала, с каким вдохновением про бои в Севастопольской бухте, про Нахимова и Синопскую битву, про начало войны на Подгорной улице, про затопленные корабли, про матросов, певших «Варяг» с зашитыми медной проволокой ртами! Однажды мы с отцом и матерью отправились в гости на окраину города и зашли на рынок возле остановки. С огромным изумлением я увидел в продавщице яблок и томатов ту самую учительницу истории города.

— А что вы здесь делаете? — как сейчас помню, спросил я.

Но дальше разговор не заладился. А вечером я уже и забыл об этой нестыковке — учительница героического предмета и торговля помидорами так и не увязались в детском сознании во что-то цельное — потому что был праздник, салют. В Севастополь, пока жители меняли духи на чайники, приехал Жан-Мишель Жарр. Когда об этом заявили по местному телевидению,

было трудно поверить. Площадки, достойной выступления артиста, в городе не нашлось, поэтому ему установили сцену прямо в море — ею послужила платформа, удерживаемая, по всей видимости, на якорях, а напротив нее была расположена еще одна платформа — зрительская. Маленькие катерки доставляли к сцене музыкантов, а зрителей — к их местам. Разумеется, тем, кто торговал овощами на рынке, мест не досталось: там собрались «новые сливки» Севастополя, которых никто не знал, — люди, появившиеся ниоткуда, жившие вроде бы по соседству, в том же городе, но совершенно непонятно чем занимавшиеся и почему вдруг — за какие заслуги — ставшие новой элитой.

Все оказалось проще: никаких заслуг не было. Были деньги. По всему городу висели красочные рекламы ТДК; рубрика ТДК занимала по несколько полос в местных газетах, обзаводились вывесками ТДК знакомые с детства каждому севастопольцу магазины. ТДК ассоциировался у меня с популярной маркой видеокассет, которые мы ежевечерне брали в прокате. Эта ассоциация меня всегда веселила. На самом деле аббревиатура ТДК расшифровывалась как торговый дом Кондратовского, который был для Севастополя новый бог. Именно он привозил в город Жан-Мишеля Жарра, он устраивал салюты «круче, чем в Москве», он сносил в центре города лестницы, мешавшие расширяться его магазинам и кафе. С удивлением узнал, что сейчас этот человек занимается поддержкой русскоязычного населения и защитой Крыма от исламского ваххабизма. Это достойно уважения. Признаться, в те годы простые севастопольцы его не любили. Быть может, потому, что любой навязчивый бизнесмен на фоне тысяч сломанных жизней и оставленных надежд выглядел бандитом: можно ли было в те годы «вырваться» иначе? Сложный вопрос для ребенка, я верил, я не разбирался.

Однажды, возвращаясь из школы привычной дорогой, поворачивая на улицу Адмирала Октябрьского к остановке «пятерки» возле Водоканала, я увидел — впервые в жизни — похоронную процессию. Несколько здоровых парней с траурными лицами несли гроб, а за ними... За ними, казалось, шел весь Севастополь. Люди сворачивали с обеих сторон Большой Морской, спускались с Центрального холма, вливаясь в общий

поток, все прибывали и прибывали — творилось что-то невероятное. От кого-то из людей я узнал, что хоронят Владимира Иванова, главного редактора газеты «Слава Севастополя». Его взорвали возле собственного дома. Гроб несли от самой редакции на кладбище Коммунаров — предстоял долгий и непростой подъем в гору, но никто не останавливался. В те годы, руководствуясь еще не изжитой советской привычкой, многие горожане выписывали газеты. Однако не думаю, что все знали имя-фамилию главреда — читали статьи, узнавали новости; в выпускные данные, может, и не заглядывали. И вот что мне кажется: большинство людей пришли в тот день не провожать Иванова, а выразить солидарность со старым миром, уходящим в небытие, в котором человека еще нельзя было просто так взять и убить за то, что он что-то там пишет, публикует. Каждый хотел подойти к могиле и насыпать землицы, как будто прощаясь со своими надеждами на то, что это пришедшее на смену их открытой, логичной и честной жизни мракобесие — временно, что оно уйдет. Но это было не так, наступала долгая тяжелая ночь. Иванов был мертв, а за месяц до этого в Москве не стало Листьева, словно, повинувшись старым установкам, дали разнарядку из Москвы: с журналистами так теперь можно. Теперь можно так с людьми. Убийства этих журналистов были показательными: новая жизнь утверждала себя в старых декорациях: советской редакции Останкина, уютных улочках Севастополя с балконами, увитыми плющом.

Казалось, я, ребенок, должен был стремиться к новой жизни, как стремятся к ней — естественным образом — все младшие поколения, хотя бы из чувства протеста по отношению к взрослым, хотя бы — от желания обладать всеми этими «баунти», райскими наслаждениями. Но, как ловушка в «Охотниках за привидениями» — мультфильме, который я обожал смотреть в те годы — она «засасывала» в другое измерение, которое только казалось свободой, а на самом деле было загерметизированным отсеком для тех, кому не нашлось места в реальности. Я до сих пор считаю, что тогда, в 90-е, не началась, а закончилась свобода. Я бы купился на нее, но что-то мешало. Может быть, то, что я ходил хоронить Иванова — младший школьник, зачем, Господи, какое тебе дело? — и понял, что хоро-



ших людей убивают за правду. Те, у кого много денег. Может быть, потому, что однажды пошел в ветеринарную клинику, где на руках у отчаявшейся старушки умирал котенок, но ворвался крепкий парень с раненым питбулем на руках — видимо, на собачьих боях — и прорвался, кинув деньги, без всякой очереди: ему необходимо было сохранить инструмент добычи своей прибыли, отремонтировать его. Мой выбор — с кем я? — был сделан тогда, новому времени оставалось только увидеть его во мне — и отвернуться. Все произошло само собой.

Пораженный незавидной судьбой журналистов, я все же не оставлял мечты стать одним из них. Для нашего маленького дома я делал газету на тетрадных листах — она называлась «Дом 13 и другие...», впоследствии — «Добрая газета». Я не придерживался принципа «Не вижу зла», но на нашей маленькой двухэтажной улице в центре города не происходило ничего плохого, а значит, и в рубриках «Криминал», «Происшествия» смысла не было. Созрела вишня, начали падать на землю спелые абрикосы, у Людмилы Петровны из соседней квартиры был день рождения, кот Петроний из восьмого дома победил на престижной международной кошачьей выставке в Турции — всем этим событиям находилось место на страницах моих газет. Сопровождались незатейливые тексты рисунками, стихами собственного сочинения, конкурсами для немногочисленных, но верных читателей — соседей нашего маленького дома. Соседи относились к газете с пониманием и даже порой с интересом — я старался публиковать в ней ценную информацию вроде расписания автобусов или анонсов телепередач. Обменивались мнениями, делились впечатлениями со мной, благодарили за поздравление. Не любили газету только родители, называя это словом «писанина», как называют мою деятельность и сейчас. Сейчас я и сам ее так называю.

В «газете» я публиковал и свои первые опыты написания текстов на загадочном и красивом украинском языке. Нам начали преподавать украинский в школе, к чему родители, да и я сам, относились скептически. Но как только начались уроки, я проникся языком, и мне захотелось учить его, понимать, говорить на нем — не забывая, естественно, о том, что родной

мой — русский. Я пытался переводить на украинский простые стихотворения и даже фрагменты из книги Брэма «Жизнь насекомых», которая мне оказалась «не по зубам». Спустя несколько уроков нас посвятили в «жовтенята» — октябрята в переводе с украинского — эта традиция не умирала в школах еще много лет после обретения «незалежности»: она лишилась идеологической начинки, но как-то отмечать маленьких школьников, вносить в их учебные будни разнообразие учителя считали нужным, однако ничего нового придумать не могли. После одного из уроков, расчувствовавшись, я подошел к учительнице и сказал:

— Красивый язык.

Она тоже была молодая, красивая. Как и многие украинки, если не все. Может быть, потому и расчувствовался.

Когда бы я мог подумать, что кто-то из тех, кто учил украинский вместе со мной — может быть, в том самом кабинете, может, в соседней школе, может, на год старше или младше, спустя много лет выйдет на площади их столицы против Крыма, против Севастополя, кто будет стоять плечом к плечу, локоть к локтю с теми, кто жаждет ворваться в Крым, разворотить жилища, надругаться над семьями, унижить, избить, уничтожить людей за то только, что они родились там. Что эти вчерашние жовтенята и выйдут, и будут кричать, потрясая булыжниками, в уродских своих масках, и кричать проклятья в адрес России. Никто в Севастополе не выбирал Украину, никто не приветствовал ее, глаза ребенка, видевшие все сами, не дадут соврать. А украинский язык, литература, история — все это, прекрасное само по себе, вне контекстов, конечно, стало лишь орудием в руках расчетливых людей, строивших «с нуля» государство без цели, без идеологии, без смысла. Мы нищие, мы свободные, мы самостийные — вот, пожалуй, и все, на чем держалось то государство. Они воспитывали новое поколение, которое с ранних классов учил украинский, которое никогда не жило вместе с Россией, сердца которых не болели, не соперничали вместе с ней, а еще лучше, чтобы эти сердца вообще не умели болеть, переживать, чтобы их не было. Это поколение, в глазах ко-

торых нет ничего, кроме ненависти и агрессии, строит сейчас свои баррикады, врывается в офисы, унижает женщин и избивает случайных прохожих. Это свободные люди свободной страны. Это первое поколение независимой Украины. Старики, которые стояли тогда, в начале 90-х, у истоков, качают головами: они это затеяли, но хотели ли они этого? Время стирает все, и боль, и обиду, и страх тех лет, и даже те, кого ты считал мерзавцем, с расстояния двух десятилетий выглядят лишь милыми наивными людьми. Конечно, они заблуждались, конечно, они хотели не этого. Они родили ребенка и нянчились с ним, ребенок вырос, поставил их на колени и плюнул в их седины. «Слава Украине, слава героям».

В Севастополе построили мечеть — она находилась недалеко от центра, и все живущие там, включая нашу семью, теперь имели счастье просыпаться под зазывающие песнопения мусульман. Никого не раздражали сами мусульмане, может, потому, что их в городе никто и не видел, но уже тогда стали появляться первые угрозы в адрес русскоязычного населения Крыма со стороны крымских татар. Угроза была «призрачной»: жили они в каких-то местах Крыма, куда мы никогда не ездили, в Севастополь не заявлялись, но время от времени они делали какие-то свои заявления: о ненависти к русским, о том, что Крым будет их. Это пугало, конечно. Все понимали, что после подписания исторических соглашений, по которым Крым бросали на произвол судьбы, на арену истории выпущены демоны и если они по какой-то причине еще не действуют, так только потому, что сами не осознают своей возможности. В Узбекистане, на Кавказе осознали быстро. Крымские «демоны» оказались нерасторопными, к тому же, объективно, их было меньше.

Людей постепенно приучали к тому, что за все нужно платить, причем не просто — а отдавать последние деньги. Две трети троллейбусов в городе перешли на «коммерческий» режим — к привычным номерам маршрутов добавились буквы «Т» и «К», на табличках появились — как в такси — «шашечки». Стариков в троллейбусы больше не пускали, да и для школьников было дорого. Я с детства ходил пешком, бабушке, когда она приезжала в Севастополь, станови-

лось обидно. Довольные кондукторы, презрительно глядя на проездные, указывали на дверь: «Ничего не знаю. Мы бесплатно не возим». Бесплатный сыр бывает только в мышеловке — любимое выражение тех лет, его повторяли все, на каждом углу — «успешные» (хотя в русском языке тех лет человек еще не мог быть успешным, могло быть только начинание, проект) с наслаждением и восторгом, остальные — с мазохистским удовольствием.

В противовес нарастающей «капитализации» и монетизации всего и вся последним особенно остро хотелось чего-то нематериального, спасительного, во что можно уткнуться носом, как в подушку, или всей головой, как в песок, и забыть, отдохнуть. Сейчас это назвали бы духовностью. Но это была странная духовность. Запросу на нее отвечали порой совершенно неожиданные, мутированные предложения вроде Марии Дэви Христос в том же Ленинграде или начинающих свидетелей Иеговы, которые в комиксах изображали человека после смерти просматривающим в компании Бога всю свою жизнь по «видику». «Вот же, я в церкви», — говорит человек. «А, нет, — отвечает Бог. — В церкви-то ты в церкви, а думаешь о футболе». Духовным чаяниям севастопольцев отвечал Щека Асахара, выступавший по одной из трех кнопок стационарного радио. Впоследствии его называли Секу — есть вообще сумасшедшие люди, которые с пеной у рта готовы спорить о произношении японских слов и имен, я не из них: мне наплевать — но тогда, из радиоточки, с нами говорил Щека. Его вкрадчивый голос действительно зачаровывал — советский народ, не привыкший к проповедникам, выключал кран с водой, прекращал варить суп и присаживался на стул ближе к приемнику, готовый внимать. Переводчик доносил до людей смысл чарующих слов.

«Щека за то, чтобы в мире были любовь и справедливость», — вкратце пересказывала его идеи бабушка.

Это было хорошо. Мне это тоже нравилось. К тому же Щека Асахара привносил немного любви и в наш дом. В порыве нежности бабушка могла потрепать меня ласково за щеку (пухлые щечки «в маму» вызывали предсказуемое умиление у родителей), приговаривая:

— Ух, Щека! Щека так щека. Щека Асахара!

Щека Асахара напомнил о себе, когда я уже и позабыл о его существовании. Возглавляемое им АУМ Сенрике, которое я называл по ошибке АО, потому что в те годы все вокруг было АО, отметились одним из крупнейших терактов в истории человечества. Чего добивался Щека, я так до сих пор и не знаю — он же не мусульманский фанатик. Есть Google, но я не хочу знать.

Неизведанное и потустороннее становилось нормой жизни. Из окружающей — в наиболее точном значении: бравшей в кольцо — действительности с коммерческими троллейбусами, АО, челноками, «бесплатным сыром в мышеловке» и убийствами вокруг бежали куда угодно — в любую открывшуюся дверь. К услугам тех, до кого не мог достучаться Асахара, были плодившиеся с невероятной скоростью представители Гербалайфа, передачи об инопланетянах среди нас, книги о Шамбале в каждом почтовом ларьке, откуда стремительно исчезали газеты, а также бесконечные маги, экстрасенсы, колдуны. В Ленинграде еще была водка «Черная смерть» в алюминиевых банках 0.33 с костями и черепом. Отец, приезжая в город, выбирал ее. Мама предпочитала все остальное.

Однажды, возвращаясь из гостей (довольно поздно), на конечной 12-го троллейбуса мы обнаружили в небе какой-то странный предмет.

— НЛО, — говорила мама. — Нет, точно НЛО. Видите?

— НЛО не НЛО, какая разница, — скептически отвечал отец.

Предмет был настолько мал, что и разглядеть-то его было невозможно. Однако действительно казалось, что в небе есть что-то, не похожее на звезды, и оно вращается и даже меняет цвета. Придя домой, я забыл об объекте, но самое интересное началось потом. На следующий день я встретил на улице знакомую женщину в возрасте, выгуливавшую пекинесов. Как правило, мы здоровались с ней и даже перекидывались парой слов. Но на этот раз она начала разговор неожиданно:

— Ты не видел вчера НЛО? — спросила она.

— Видел, — ответил я, не понимая, откуда ей это известно. Но ведь ей не было известно, она просто спрашивала.

— Приходи сюда вечером, — сказала женщина, оттаскивая от меня своих пекинесов.

— Вот тебе конверт, — произнесла она вечером. Как правило, свободное время я проводил на улице, гуляя, и мог не появляться дома хоть целый день. Женщина протянула обыкновенный, непримечательный конверт. Запечатанный. — Там заклинание.

— Заклинание? — машинально переспросил я.

— Да, — подтвердила женщина. — Когда в следующий раз увидишь НЛО, достань этот конверт, вскрой и прочитай его. Тогда они придут к тебе, — она улыбнулась.

Я молчал.

— Но помни, что конверт ни в коем случае нельзя открывать просто так. Спрячь его от самого себя — наверняка ты захочешь открыть его уже вечером, но не вздумай делать этого. Иначе заклинание потеряет силу.

— Хорошо, — сказал я. — Большое спасибо.

— И вот еще, — добавила она. — Не говори об этом родителям.

— Да, это само собой, — ответил я. — Можете быть спокойны.

Родителям в последнее время я вообще ничего не говорил, да им было и не до каких-то моих тайн. Я, конечно, фантазировал на тему, как меня заберет НЛО, как зависнет над улицей Володарского в городе Севастополе и проведет световой луч-трап прямо к моему окну. И как я, счастливый, улечу — на этом моя фантазия заканчивалась, но было понятно, что я все равно останусь довольным, при любых дальнейших раскладах, ведь главное во всей этой истории — улететь. Мне кажется, и мои родители хотели того же в тайне, и много кто еще — в Севастополе ли, в Ленинграде: по всей огромной стране. Конечно, НЛО я больше не видел. Конверт берег, не открывал. До тех пор, пока он не затерялся. И женщину с пекинесами я тоже не видел. Может быть, воспользовалась?

Зато я видел экстрасенсов, гадалок и «бабок». Первые жили в обычных квартирах, в многоэтажках и производили на меня, ребенка, впечатление сумасшедших. В обыкновенной квартире, нажав *mute* на пульте телика, среди советской мебели и сирийских ковров они проводили «сеансы». Возможно, их неискренность чувствовалась за версту, поэтому мама ходила больше к «бабкам». Те жили в частном секторе Севастополя, брали «маленькой денежкой» или «картошеч-

кой», помогли людям, но выглядели при этом все равно очень сурово. К ним выстраивались огромные очереди — порой из таких же бабок и женщин предпенсионного возраста. Не знаю, зачем моей матери, молодой и красивой, это было нужно. Зачем она гадала? О чем она их просила? Наверное, просить стоило только об одном — как понять это новое время, как встроиться в него, принять сердцем, научиться в нем плавать, дышать, научиться в нем жить. Но экстрасенсы ухмылялись: они и были этим новым временем, так они и скажут, как его понять. А бабки, может, и сами не понимали ничего.

Родители были нервные. Они все чаще ссорились. Не хватало денег, постоянно не хватало денег...

— Тебе никто не поможет, если у тебя нет денег, — говорили они и были правы. Не понимали они одного: тебе никто не поможет, и если у тебя есть деньги.

Однажды я убежал из дома. Не потому, что хотел что-то кому-то доказать. Потому что все достало. Я ездил по Крыму — на попутках, обманывая водителей, что еду домой, на автобусах, на электричках. К тому же мне было интересно, где что происходит. Как еще живут люди и как вообще можно жить еще — кроме того, что я видел вокруг. Мне хотелось найти что-то счастливое, что-то интересное. Я любил своих родителей, нет, я бежал не от них, конечно.

В ночной Ялте я познакомился с парнем. Сколько ему было лет, не помню: от двадцати до тридцати — мне, совсем маленькому, было не различить. Ночью я шел с ним по Ялтинской трассе, он обещал довести меня до Ливадии — там я никогда не был, а оттуда рукой подать до Мисхора, где жили друзья нашей семьи — все-таки ночью, без денег, план побега уже не выглядел столь привлекательным. Где-то вдали сверкали огни, но на трассе было темно, мы шли вдоль кипарисов, вдыхая теплый ночной крымский воздух. Парень рассказывал о своей жизни, шутил, говорил, что до Ливадии осталось каких-то полчаса. И вдруг повернулся ко мне, резко схватил за горло и злобно произнес страшную и — что было главным — совершенно неожиданную фразу:

— А что, если я тебя сейчас убью?

Конечно, мне стало страшно. Я вспомнил рассказы матери о маньяках — их стало очень

много — и психопатах, и понял, что передо мной один из них. Но спустя какие-то секунды страх отступил — это было удивительно, это было нелогично: я сам не понимал, почему не боюсь. Это было приключение — я на трассе, ночью, незнакомый провожатый, крымский «сталкер», и даже если сейчас случится убийство — оно станет лишь частью приключения. Завершающей, правда, частью. Но оно станет более живым, чем то, от чего я бежал. То, от чего я бежал, было мертвым.

— Да шучу я, шучу, — рассмеялся парень. — Я сейчас пойду вниз, а вернусь через час.

— Почему? — спросил я, все пытаюсь отдышаться.

— Ну, так надо, — коротко ответил парень.

— Надо так надо, — согласился я. — А ты точно вернешься? Я не найду в Ливадию дороги один.

— Точно, — кивнул он и скрылся в кипарисах, а я остался на трассе один. Изредка мглу рассекал свет автомобильных фар, но он так же быстро исчезал, как появлялся — никто из автолюбителей не замечал одинокого ребенка, стоящего на обочине глубокой черной крымской ночью. Устав ждать нового приятеля, я побрел на остановку междугородного автобуса, где и уснул, свернувшись калачиком на деревянном сиденье.

Меня обнаружили служители порядка и доставили на служебном автомобиле в Севастополь. Они угощали меня бутербродами с салом и всячески подбадривали — мол, скоро будешь дома. С кем не бывает, все, мол, дети бегают. Но больше так не делай, конечно. Одного не отпустили, передали севастопольской милиции, а уж они обещались вызвать родителей.

Таким образом я оказался в отделении на вокзале города Севастополя. Крепкие парни в форме непрерывно матерились, разговаривали между собой, с задержанными и посетителями только на повышенных тонах. Казалось, вот-вот они начнут драться — если не с кем-то, так между собой. Мат в их речи присутствовал через каждое слово, и это не преувеличение — я никогда и нигде в жизни больше не слышал такой матерщины, как в этом отделении. Вдохновленный поведением мужественных и доблестных людей, я перенял их манеру общения и еще долго пытался воспроизвести в школе — в особенности на уроках физкульту-

ры и в общении с девочками. Физрук еще понимал, но девочки вставали и уходили. Мне предстояло мучительно долго понимать, что завоевывать их расположение нужно иными способами. Севастопольские милиционеры мне в этом деле не помогли.

А добрые родители простили: ну, убежал и убежал. У них были проблемы серьезнее, и, если бы в те годы я был способен понять весь масштаб их, я бы, конечно, сидел дома тихо. И ждал, когда мы вновь поедem в Ленинград.

Мы провожали отца — ехали в порт, что на конечной 10-го троллейбуса, остановка «Бухта Камышовая», снимали на зарубежную видеокамеру моряков, садящихся в автобус, они улыбались и махали руками — они были жизнерадостны, моряки, и любили свои семьи — без этого в море не выйдешь, без этого не выживешь, наверное, там. Ну а мы с матерью были простые обыватели, мы садились в коммерческий троллейбус и ехали в центр, домой. Где мама молилась, чтобы все было хорошо.

Ну, а потом мы снова уезжали в Ленинград. Мы ездили туда летом; получалось странное обратное движение: я учился в Севастополе вплоть до самого лета, а потом учеба заканчивалась, и когда все ехали в Крым отдыхать и купаться, мы с матерью отправлялись в пустом поезде в Ленинград.

Но я не расстраивался. Мы с дедом брали корзинки, садились на трамвай-шестерку и ехали на Финляндский вокзал. Там привычно покупали «сникерс» или «баунти», газетенку «Не скучай» или какое-нибудь дешевое чтиво в дорогу, сенсационно разоблачающее коммунизм — им были завалены все прилавки, а что не умещалось на них, разносилось активными и нацеленными на успешные продажи менеджерами по вагонам: «Вниманию уважаемых пассажиров!» — и ехали под Выборг, на дачу. Впереди были прогулки за грибами в лес, купание в озере, уютные вечера вдали от большого города.

У деда в электричке я спрашивал, что такое коммунизм. Уже все вокруг смеялись, плевали в него, так человек, резко «поднявшийся» в жизни, отрицает прежних друзей — еще вчера он пил пиво с сухариками и слушал Виктора Цоя, а сегодня кричит о том, что это «забавы нищесбродов». Эльдар Рязанов на ТВ в прог-

рамме, посвященной его дню рождения, сражается с человеком, держащим в руках красный флаг, и благородно побеждает его, хотя все зрители Рязанова — советские люди, именно они любили Рязанова, и никто не любил его, кроме них. Дед говорил, смеясь, что коммунизм — «это от каждого по способностям, каждому по потребностям», но оговаривал, что это примитивное объяснение коммунизма. В окружавшем нас мире люди соглашались на то, чтобы множество утонуло, для того чтобы кто-то один всплыл. Потому что есть шанс, что всплывет он. А прежде никому было не всплыть, но и никто не мог утонуть. И вообще, человечество делится на тех, кто уверен в том, что в жизни есть «первые» и «последние», и тех, кто считает, что не должно быть первых, лишь бы не было последних. Я кивал головой. Мне было все понятно.

Вспоминая те смешные разговоры, думаю: так что же я, коммунист? Нет. Коммунист из меня не получился. Но новое время я так и не принял, оно как было, так и остается для меня временем обмана, но, поскольку других вариантов нет, приходится жить в нем. В мою память врезалась финальная сцена из фильма, который любил и даже периодически пересматривал дед — «Жизнь Клима Самгина». Там две противоборствующие группы людей движутся навстречу по улице, готовые сразиться в смертельной схватке, каждый со своими речами и флагами. А герой жмет к стенам, пытается открыть двери — но все в страхе заперли их, и ему просто некуда деться. Его сметают.

Фильм заканчивался, и шла обязательная реклама, без которой теперь невозможно было представить жизнь. Мы шли в кладовку — в огромной коммуналке, где все уже изучено и от всего порядочно тошнит, это было настоящим приключением. Ходили туда редко. В кладовке хранились вещи всех жильцов квартиры — пыльные старые книги, удивительные лампы, шкафы, казалось, заставшие прошлое (по отношению к 1990-м) столетие, чьи-то тетради с записями, наборы старинной посуды, потрепанная одежда и просто откровенный хлам. Пока дед копался в своем шкафу, я от нечего делать пересматривал большие красочные

журналы — назывались «Огонек». Вот серия рисунков, на которых изображено бесформенное красное существо с глазами рядом с разными людьми. Называлось оно даблоид: солдат и даблоид, еще кто-то и даблоид. Картинки меня веселили. Вот черно-красная страница со стихами Гумилева: «И умру я не на постели, при нотариусе и враче, А в какой-нибудь дикой щели, Утонувшей в густом плюще». Почему-то мне казалось, что он имел в виду что-то вроде нашей коммуналки.

На одной из страниц я увидел черно-белую картинку: на трибуне с микрофоном выступал какой-то отвратительного вида человек, урод, и плевался в окружавших его — внизу на картинке виднелись какие-то лысые, не менее отвратительного вида головы. Плевки были прорисованы старательно, и у читателя не должно было оставаться сомнений: их хватит на всех. Юмор же заключался в подписи к картинке: «Плюрализм мнений». На момент выхода журнала это было, видимо, новое, популярное слово. Было очевидно, что высмеивались какие-то определенные люди, в определенном историческом отрезке — те люди уже ушли, и отрезок кончился. А я стоял в пыльной кладовке, куда едва пробивался свет, и смотрел. До сих пор помню это ощущение: я

осознал, что именно этот рисунок определил для меня, какое оно — новое время. Я понял его тогда. Плюрализм мнений — в этих двух словах и плевках с трибуны для меня было все.

Это время до сих пор не закончилось. Когда я смотрю современные СМИ, когда читаю споры в «фейсбуке» и даже порой, не сумев сдержаться, сам принимаю в них участие, когда слушаю «авторитетные мнения» и «экспертные комментарии», читаю колонки «публицистов» и «общественных деятелей», глухих, слепых, безразличных и бессердечных, но «талантливых» и говорливых, мне одно помогает не чокнуться и не впасть в безграничное отчаяние. Это та картинка: никто никого никогда не услышит. Никто ни до кого не достигнется. Никто никого не поймет. Плюрализм мнений. Подходите ближе, подставляйте лысые головы. Плевков хватит на всех.

□

**Георгий ГОРЬКИЙ** (наст. имя Георгий Панкратов)

*родился в Санкт-Петербурге.*

*Пишет стихи, прозу, публицистику.*

*Публиковался во многих журналах и альманахах .*

*Финалист независимой литературной премии «Дебют» (2014)*

*и литературной премии «Золотая тыква» (2014),*

*лауреат литературного конкурса «За далью даль» (2014).*

*Участник проекта «Дневник поколения»  
издательства «Вече» (2014) и др.*

*Лауреат литературного конкурса*

*«Северная звезда-2014» журнала «Север».*

*В настоящее время проживает в Москве и Севастополе.*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

